

<...>

ся, что все эти посторжения реплики достопочтенной дамы вызваны благополучным окончанием в июльской книжке «Вестника Европы» романа г. Боборыкина «Книжки». Мы очень-очень рады за успех автора. Он не только оправдал все наши ожидания, но даже превзошел их! Какой неожиданно-гениальный tout-de-sein продвинул он! Это даже в творчестве нашего автора редкость. А какая-глубинатобь-ективно-протокольная воспроизведения, хотя бы в сценах смерти и похоронь купчихи Филиковой! Он вполне может гордиться, что его усилия подвигли у нас этот род творчества не пропадают безследно, ни для публики, ни для молодых писателей. Так, в той-же книжке «Вестн. Европы» иная молодая (или во всяком случае начинающая) писательница Ольга Стародубская напечатала рассказ «Паточки», — на котором, несомненно, влияние творчества г. Боборыкина отразилось в самом ярком виде. «Протоколизм» достигает в творчестве нашей безастриски такого совершенства, которое даже у самого учителя, г. Боборыкина, не встречается: с одной стороны, он заставляет свою героиню (юную княжну Нелли) прочесть в издании себя и, вероятно, читателей, всю молитву «Отче наш» дословно (так вся и напечатана от слова до слова), с другой — эта же героиня ведет диалог с своей англичанкой мисс Bell не иначе, как на самом изысканном английском языке, т. е. именно так, как это было в действительности, даже без перевода на русский язык. Бедный русский читатель! Он должен испытывать большое недоумение. Но мало ли что приходится испытывать русскому читателю, о чем он раньше и подумать не мог! Раньше, напр., он думал, что «художественная правда» есть одно из неизбывных условий творчества, — а вот г. Боборыкин и его последователи г-жа Стародубская думают, что существуют только «протокольная» правда, обязательная для художника, — а дух и сущность жизненных фактов — это просто дело авторского усмотрения и его личного произвола. Если, напр., «Отче наш» произведено вполне так, как оно значится в молитвеннике, то автор вполне доволен этой «полнотой» художественного воспроизведения, но если его герои, вопреки мало-мальски разумному пониманию их психики и социальных условий, по капризу и произволу автора, начинают произносить совершенно по ряду вонь выходящие фортеля, — то уже это результат «творческой свободы», которую, по мнению эстетика г. Боборыкина, никто и ничто стеснять не может. Как распорядится этой «свободой» г.

Боборыкин, мы уже видели, — а вот как распорядится своим героиней его последовательница г-жа Стародубская:

Княжна Нелли (дочь богатого княжеского рода, живущая с матерью в раскошном особняке на Английской набережной) и ее гувернантка miss Bell идут с прогулки по Царскому лугу.

Вдруг Нелли останавливается как вкопанная: старый, оборванный нищий протягивает к ней руку и хриплым голосом бормочет: «Христа ради, барышня-красавица, дай мне одному человеку!»

И Нелли изогнула и остановилась...

— Well, be quick, Nelly, have you not your purse with you? — нетерпеливо говорит гувернантка.

Но Нелли не двигается, не отбегает...

— Will you stay here the whole day? — начинает miss Bell, но так и не оканчивает своей фразы: Нелли совсем близко подходит к старику и ее маленькая ручка в белой перчатке крепко пожмивает черную, сухую руку нищего...

Miss Bell вскрикнула, вспыхнула, заторопилась. Она схватила Нелли за руку, и почти бжегит, улекая ее за собой.

— Bravo, княжна! — говорит полупасквильный, полу-ласковый голос, и граф Шунский, поровнявшись с ними, почтительно прикладывает руку к козырьку.

Нелли машинально кивает ему головой. Лицо ее сияет.

Ужас miss Bell еще усиливается... Конец.

Читатель согласится, что все это очень много и забавно и несколько переносит нас ко временам «института» для благородных девиц и к правоучительным детским книжкам с картинками, в английском филантропическом вкусе.

Да, все это ребячески-наивно и забавно, но, однако, куда же мы идем с этим забвением лучших художественных традиций знаменитой «пленды»...

Обидно, одишно, еще и то, что эти традиции недостаточно овладели и плохо усваивают их себя и лучшие современные художественные наши силы. С. Чехов, напр., писатель к несомненным, непосредственным художественным дарованиям, из-под пера которого иногда появляются, хотя и не особенно широкие по замыслу и по объему захватываемых явлений, но замечательные, по оригинальности, меткой наблюдательности и жизненности небольшие рассказы, — однако, отсутствие яркого, определенного творческого настроения до такой степени чувствуется во всех его произведениях, что все они, не смотря на всю анфиладность таланта их,

нападают как-бы въ зародышѣ пораженными художествомъ и англійской болѣзнию. Какъ известно, раннѣе критика упрекала г. Чехова, — и не совсѣмъ несправедливо, — въ отсутствіи не только опредѣленнаго, но всякаго творческаго настроенія, послѣдствіе чего его первыя работы являлись какими-то фотографическими этюдами, въ которыхъ трудно было уловить какую-нибудь общую связь; въ выборѣ тѣмъ онъ былъ также неуловимъ, капризенъ и произволенъ, какъ и всѣ современныя авторѣ. Г. Чеховъ, повидимому, впасть въ эти справедливыя упреки, и въ послѣднее время выборъ его тѣмъ уже не такъ необузданно-капризенъ; не такъ послѣднѣе произведеніе становится возможнымъ прослѣдить нѣчто похожее на общее творческое настроеніе, овладѣвающее авторомъ: онъ старается отнестись вдумчивѣе и глубже къ разсматриваемымъ явленіямъ, — да и эти послѣднія уже не излагаются у него въ такомъ хаотическомъ безпорядкѣ, какъ то было раньше. Такое направленіе въ дѣятельности талантливаго бездеиста есть, конечно, можетъ только радовать. Но въ разработкѣ этого творческаго своего настроенія, г. Чеховъ, повидимому, еще идетъ ощупью; это только попытка, и отсутствіе цѣльности такого настроенія чувствуется еще ярко на каждомъ пономѣ произведеніи его. Въ майской кн. „Русской Мысли“ была помѣщена его разсказъ „Домъ съ мезониномъ“, разсказъ со стороны нѣжной талантливости очень недуренъ, и отнесись авторъ къ нему съ большей безхитростностью, онъ могъ-бы быть очень яснымъ жанровымъ этюдомъ. Но автору вдругъ захотѣлось, въ очень ограниченныхъ рамкахъ этого жанроваго эскиза, поставить и разрѣшить какую-то мудреную и сложную [соціальную] дилемму. И вышло, въ концѣ-концовъ, то, что дилеммы никакой онъ не разрѣшилъ, а разсказъ, какъ жанръ, поблѣднѣлъ и сдѣлался какимъ-то сатирическимъ очеркомъ, въ которомъ авторъ хотѣлъ кого-то „развѣнчать“, а кого-то „уиѣнчать“ и притомъ совсѣмъ неоплодотворенъ.

Дѣло заключается въ слѣдующемъ: „Въ деревнѣ, въ домѣ съ мезониномъ“, т. е. попросту въ старомъ дворянскомъ гнѣздѣ, проживаетъ нѣкогда благодушная вдова-помѣщица съ двумя дочками; одна, старшая, довольно энергичная и самостоятельная особа, но при этомъ сухая и прямолинейная педантка, посвящающая свой деревенскій досугъ на устройство деревенскихъ школъ и больницъ и даже мечтающая путемъ вліянія на мѣстныхъ землевладѣльцевъ создать извѣстныя партіи въ мѣстномъ земствѣ; другая — наивная „кисейная барышня“, которую не только не нате-

ресуютъ какіе-либо мудреные вопросы, но ей еще хочется „просто“ любить, слушать соловьевъ и играть на гортѣ. Старшая, „ужная“ дочь совершенно прибираетъ къ рукамъ „сырую“ и благодушную мать и свою сестренку, которая ужасно боится своей „ужной“ сестры“.

Въ этомъ видѣ жанрикъ выходилъ очень недуренъ. Но вотъ авторъ приводитъ въ этотъ домъ съ мезониномъ какого-то ханжарящаго художника, котораго очень интересуется молоденькая сестричка, съ которой онъ не прочь, повидимому, отъ скуки, поиграть и въ любовь, а между прочимъ, коварно, взнодтишка подсыпается надъ барскими „затѣями“ старшей сестры; эта послѣдняя все больше и больше враждебно начинаетъ относиться къ нему и старается какъ-нибудь охранить отъ его вліянія наивную „Мисюсю“, какъ называетъ она младшую сестру. Въ концѣ-концовъ, между художникомъ и старшей сестрой происходитъ крупный разговоръ, въ которомъ послѣдняя упрекаетъ художника въ бездѣлничавшіи, а онъ, хотя и подтверждаетъ, что, дѣйствительно, самъ ничего не дѣлаетъ, но обрушивается на нее цѣлой тирадой изъ экономическаго трактата, въ которой доказываетъ, что всѣ эти затѣи съ земскими больницами и школами не стоятъ нѣднаго гроша, пока онъ не снимутъ съ народа тяжести физическаго труда. Послѣ этого, между собесѣдниками происходитъ полный разрывъ и когда начавшійся романъ между „кисейной барышней“ и художникомъ начинается уже принимать серьезный характеръ, старшая сестра безапелляционно приказываетъ „Мисюсю“ прекратить всякія сношенія съ своимъ „предметомъ“ — и та не только покорно исполняетъ это, но даже уѣзжаетъ совсѣмъ къ теткѣ. Вотъ и все. Мы менѣе всего, конечно, могли что-либо возразить противъ справедливости мысли о тяжести физическаго труда, гнетущаго трудящуюся массу, но все хорошо, что говорится отъ души и сердца, и при томъ у мѣста и у дѣла. Не даромъ существуетъ пословица о сѣдлѣ на коровѣ. А г. Чехову угодно было вложить эти возвышенныя мысли въ уста столь жаднаго и духовно-скуднаго субъекта, какъ выведенный имъ художникъ, что онъ теряетъ не только всякое серьезное значеніе, но даже какъ будто профанируются: читатель чувствуетъ, что эти мысли онъ бросаетъ такъ, зря, мимоходомъ, между прочимъ, просто потому, что у него языкъ болтается во рту, да кое-что когда-то сподобилъ его Богъ прочитать изъ хорошихъ книжекъ; кромѣ того, и грозныя эти реплики направлены по адресу въ сущности настолько невинныхъ созданій, какъ барышни, задумавшія хотя разъ въ жизни за-

Всѣ
мч
20. VI

няться какимъ-нибудь дѣломъ, что просто являются стрѣляніемъ изъ пушекъ по воробьямъ. Такой дилетантизмъ относительно жгучихъ мировыхъ вопросовъ парализуетъ значение самыхъ справедливыхъ и возвышенныхъ мыслей; для того, чтобы эти возвышенные мысли возымѣли значение могучаго и жгучаго вдохновения,—нужно, чтобы эти мысли и убѣжденія слѣзались глубокой вѣрой, религіей тѣхъ, кто ихъ рѣшается высказать... Въ этомъ смыслѣ мы находимъ новый рассказъ г. Усхова довольно неудачнымъ,—но, вѣстѣ съ тѣмъ, отъ души привѣтствуемъ попытку талантливаго автора, отъ безразличнаго и хаотическаго фотографирования жизни перейти къ болѣе глубокому и вдумчивому ея воспроизведенію.

Въ „Новомъ Словѣ“ закончена повѣсть г. Маминна „Тазіаго Іаріага“ (попросту сказать: мать и мачиха), въ которой талантливый авторъ касается „вѣчной“ тѣмы о положеніи сиротъ въ семьяхъ, объ отношеніи между ними и мачихой. Г. Маминъ не разъ уже касался этихъ тѣмъ; онъ любитъ вообще обращаться къ положенію дѣтей въ нашихъ семьяхъ и съ любовью рисуетъ тѣ сложныя и, по большей части, грустныя картины отношеній, въ которыхъ попадають несчастныя юныя созданія, благодаря житейской неурядицѣ. Такъ же тепло написана и эта повѣсть. Онъ затронулъ здѣсь очень сложныя отношенія, когда мачиха, желая всѣмъ иѣрами отнестись къ дочери своего мужа со всею заботою и вниманіемъ, однако, благодаря установившимся предрассудкамъ въ окружающей средѣ, не успѣваетъ не только расположить къ себѣ молоденькое сердце падчерицы, но въ концѣ-концовъ сама начинаетъ относиться къ ней съ ревностью и подозрѣніемъ, подъ вліяніемъ чего измѣняется отношенія и самъ отецъ къ этой несчастной сиротѣ. Тѣма очень интересная, но и необыкновенно сложная. Какъ ни тепло написанъ авторомъ этотъ рассказъ, намъ кажется, все-же, что онъ ему не совсемъ удался,—и именно потому, что мы опять здѣсь не видимъ сильнаго и опредѣленнаго творческаго настроя автора. Авторъ держится того мнѣнія, что всѣ эти ужасы происходятъ отъ того, что мы не можемъ устроить „прежде всего“ хорошихъ отношеній къ своимъ самымъ близкимъ людямъ, прежде всего около себя, въ близости... Но въ томъ-то и дѣло,—почему же не можемъ?.. Гдѣ и въ чемъ рѣшеніе этого проклятаго вопроса?.. Вдохновеніе автора намъ этого не освѣщаетъ: онъ даетъ только голый фактъ... А для творчества этого не достаточно.

Старый писатель.